

12

18 января 1997 г.

К 80-ЛЕТИЮ АРТИСТА

Театр

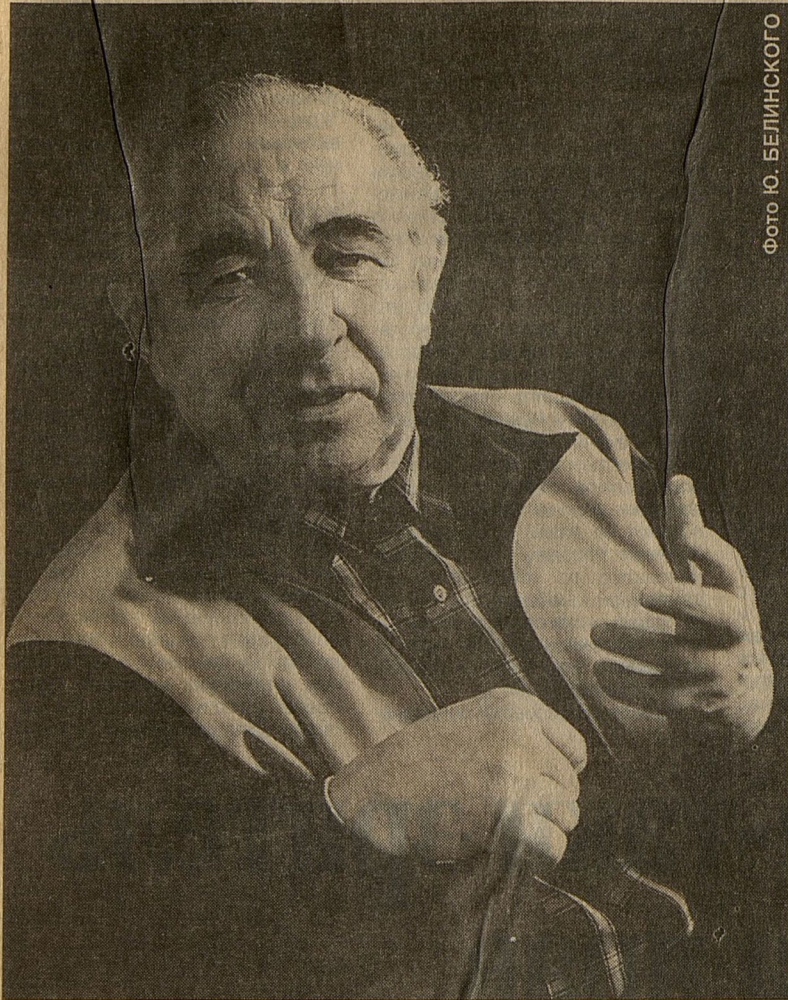


Фото Ю. БЕЛИНСКОГО

торов. Писатель — тот, кто не может не писать. Литератор — тот, кто пишет, потому что это его профессия, а мог бы и не писать.

У него настоящий зуд писательства, который, по словам Чехова, неизлечим. Научившись печатать на машинке, он хватается за первый попавшийся лист бумаги, пусть даже оберточной, и... лента ползет и ползет. Пошли буквы, составляются фразы. Он не может ждать! Его рукописи выдают характер, позволяют уловить ритм и аритмию мысли. Лист буквально дрожит от эмоций... Ползет лента, стучит лебедевская машинка, идет текст.

— Ты что, не можешь купить себе нормальной бумаги? Не можешь поставить интервал, поля, чтобы редактору потом не мучиться?

Смотрит виновато, но я знаю, что следующий его рассказ, следующая вещь будут написаны точно так же! Писание для него — спо-

что на глазах отца и матери дети совершают ошибки, уже совершенные когда-то родившими их.

Писавшие о спектакле "Мещане" — а он породил обширную литературу — обращали внимание на социальное несоответствие Бессеменова со своим временем. Но, кроме социального, есть еще и связь человека с природой, законы бытия, вытекающие из того неоспоримого факта, что человек ее часть. Художник понимает эту вечность, чувствует ее и его герой. Такова философия образа Бессеменова, которая делает его образцом, стоящим в одном ряду с образами — легендами российской сцены.

Я смотрел спектакль на протяжении восемнадцати лет. Бессеменов не старел, духовно совершенствовался. Происходило это не только вследствие естественного саморегулирования великого спектакля — совершенствовался внутренний мир исполнителя. И в этом процессе писательская жизнь Лебедева играла не последнюю роль.

Он сын священника. Нельзя без содрогания читать те страницы его прозы, где он описывает свои отношения с родите-

конца. Автор пережил это состояние, но его природная художественная страсть к наблюдениям берет свое.

Лебедевская "Больница" — своеобразная энциклопедия нравов и типов. Перед читателем выстраивается картина социальных отношений вне стен палаты, последняя же становится для него сценой, а соседи и посетители — актерами. Они разыгрывают эпизоды, звучат быстрые диалоги. Говорят "о пустяках", но сквозь них, как на рентгене, виден человек со своими представлениями о мире.

Через все его литературное творчество и в лучших его сценических созданиях проходит тема цены и обесценения человеческой личности. Превращение человека в цепку в потоке истории, в "винтика" претит ему.

Амплитуда жанровых колебаний в его сценических созданиях велика. Актер высочайшего технического мастерства, он никогда не опускается ниже известного уровня. И что бы он ни играл, даже когда не принимаешь целиком созданный им образ, от него не можешь отвести взгляд.

Книги его проясняют тайну подобных колебаний. Мастерство его покоится на присущем ему натуре эксцентризме. По определению его покойного учителя Г.Товстоногова, он владеет самым сложным и высоким, что есть в актерском творчестве, — клоунадой.

Но эксцентризм Лебедева в отличие от цирковой эксцентрики строится не на "репризе", а на знании жизни, на раздумьях о ней, на потрясавшей его наблюдательности. Он родствен озорству крестьянских балагуров, древних скоморохов, а не изысканным маскам Пьеро и Арлекина. Недаром же Лебедева так любил Василий Шукшин, чувствующий в нем родную душу.

Когда его природная эксцентрика, которой он владеет, как дыханием, соединяется в нем со знанием, добрым непрерывной работой мысли, тогда на сцене возникает громадное, новое, неожиданное.

Такое совпадение всех его начал произошло в образе Холстомера. Высшая мера условности соединилась с кинжальной проповедью. Он сам хорошо рассказывает об этом в небольшом эссе "Душа лошади — душа человеческая" и в кратком, точно выкрик во сне, наброске "Вой Холстомера", напоминающем поздние бунинские ностальгические миниатюры. Как страшно была баба, когда у нее сводили со двора корову в годы "сплошной коллективизации". Услышанное деревенским мальчиком звучит в душе зрелого мастера, и сквозь эксцентрику он прорывается к проповеди. Выходит к рампе, одним движением смыкает с себя клоунский грим и с гневом и болью уязвленной души говорит о судьбе человека в бесчеловечном обществе. В этот момент он становится соавтором Толстого.

...И театр, вечный театр, который живет в нем постоянно. На сцене и вне сцены. Он видит театральное во всем — в людях, в житейских ситуациях. Юмор, ирония, фантастика, образы детских сказок — все тут. Но во всем та, первая неизбежная, неизбежная "дотеатральная" часть его жизни. Как генетический код его театральных взлетов.

Книга "Испытание памятью" давно уже библиографическая редкость. Каким прекрасным подарком не только ему к юбилею, но и всем нам, жителям театральной планеты, было бы ее новое издание!

Перо и сцена Евгения Лебедева

Александр СВОБОДИН

Судьба благоволила ко мне. Я встречался, был близко знаком, нередко дружил со многими известными людьми из мира литературы и искусства. Но он в этом ряду занимает место особое. Я был редактором двух его книг. В общении с ним мне раскрывались первоисточники его образов, я наблюдал сам процесс возбуждения в нем творческого начала, казалось, видел его обнаженную душу.

Первая книга — "Мой Бессеменов".

В великом спектакле Георгия Товстоногова он создал великий образ. Но не только эта его роль останется в истории русского театра как один из высших его пиков. Реплику за репликой, сцену за сценой он фиксировал на бумаге свое пребывание в спектакле "Мещане", каждое мгновение жизни в образе горьковского персонажа. Годы записывал, боясь что-нибудь упустить. Так родилась книга — внутренний монолог роли. Уникальная в практике мирового театра.

Вторая книга — "Испытание памятью".

Очерки, рассказы, повести, пережитое... Отменное русское письмо. Есть множество книг известных людей, актеров, режиссеров, не написанных ими, но рассказанных. Так называемая "литературная запись". Не подвергая сомнению культурную ценность этих свидетельств, их значимость для истории, хочу лишь заметить, что его книги написаны им самим и что редактором не вставлено в них ни одного слова. Компонировка, монтаж, заглавия, сокращения — одним словом, обычная редакторская работа. Но ткань, но плоть языка — его!

В годы нашей совместной работы я делал заметки для себя. И сегодня, в день славного его юбилея, решаюсь предложить некоторые из них читателю.

его в постоянном напряжении. Если б не было у него сцены, он бы, наверное, не выдержал. Где-то прочитал: рубцы памяти. У него не рубцы — незаживающие раны. Будто в мыслях своих он постоянно просматривает фильм о себе, в котором боль и вымысел скручены болью. Не знаю другого актера, столь полно состоявшегося в своем таланте, столь облаканного публикой и государством, который бы так мучался памятью, до старости не мог примирить себя с несправедливостью, испытанной в юности.

Но и сцены ему мало. Чтобы соскабливать с души накипь прошлого, чтобы вновь и вновь испытывать целительную горечь от прикосновения к ранам своим, ему нужен еще лист бумаги.

Кто видел его трату себя в апогее сценического действия, возможно, думает, что после спектакля, такого, например, как "Мещане" или "История лошади", от него остается вялая оболочка, что он истек мукой рождения образа. В "Страшном суде" Микеланджело изобразил себя обвислой человеческой кожей, сжатой рукой судьи. Лебедевская оболочка не смята — тут парадокс актерской профессии. Бескорыстно тратя себя, он этой тратой и обогащается. Сходит с подмостков, переполненный новым чувством и знанием.

В антракте, в гриме и костюме Бессеменова, он вбегал в свою уборную, хватал разбросанные повсюду листочки и писал, писал, писал... Боялся, что "это" исчезнет. Писал, не замечая порой, что листок уже исписан. Когда я указывал ему на это обстоятельство, он взглядывал на меня странным взглядом, никак не мог понять, что я такое ему говорю... Писал так, что потом не всегда мог разобрать написанное. За годы копились сотни, тысячи листочков...

Кажется, Толстой делил пишущих на писателей и литераторов.

соб исповедаться, заново прожить жизнь, повторить ее в кульминационных моментах. Воздать должное людям, которые помогли, подтолкнули его вверх, показать тех, кто тянул его на дно. Нет, он не мститель, тем более есть поступки и мысли в его собственной жизни, которые он не может себе простить. Пушкинское "И с отвращением читая жизнь мою..." живет и в нем.

Все темы его можно выразить в древней формуле: в чем смысл жизни?

Эту движущуюся вместе с человеком проблему каждый решает сам — "коллективный разум" здесь бессильен. Решает ее и Бессеменов. У современного актера есть множество технических приемов, позволяющих обойтись и без "внутреннего монолога" или имитировать его. Но если актер — личность, если вне театра он живет невероятно интенсивной и чаще всего скрытой от окружающих духовной жизнью, то внутренний монолог его оказывается по своей ценности равновелик роли. Так случилось у Лебедева в Бессеменове. Удивительнейшим образом совпала его жизнь с жизнью "старшины малярного цеха".

Что же, собственно, совпало?

Первое. Отцы и дети. Такие очерки, как "Сестра", "Мои тридцатые", "Больница", самоочевидно показывают, что отношения детей и родителей он считает корневыми отношениями человеческой жизни. В мозгу, в сердце его не укладываются противоречия одного рода. Отец. Мать. Дети. Он внутренне пишет эти слова с большой буквы, как в дореволюционной России писали слово "Бог". Дети — плоть родителей, кровь их. Как же так получается, что между ними возникает непонимание? Разве это трагедия только Бессеменова?

Он, Лебедев, вне театра чувствует драматическую диалектику несовпадения опыта родителей и опыта детей, знает муку родительскую оттого,

лями, их мытарства, когда стало к ним изобретенное новое властью слово "лишенец". Трудно пересказать кровотокающие страницы, где автор описывает гонения, обрушившиеся на церковь в двадцатые и тридцатые годы. Острым лемехом перепахали они семью будущего артиста.

"Сын врага народа", "сын репрессированного"... Мальчику хочется сжаться, спрятаться, как-то устроиться, жить одной жизнью со всеми. Тем более что все эти сыновья и дочери "врагов" на самом-то деле воспитаны уже в красной вере, и страстный призыв к свободе, равенству, справедливости был ими услышан и усвоен сердцем. А над ним насмеялись в школе, дразнили на улице. И даже сейчас всемирно прославленный актер семь десятилетий спустя будто слышит эти крики, и горькая обида затопляет его душу.

...Тогда он решил скрыть своих родителей. Он объявил их умершими. А они были живы! Потом их расстреляли.

За что?

Прошли десятки лет, жизнь переменилась, а он все не может себе простить своего отречения от живых родителей. Потому что пришел к той истине, что никогда, ни при каких условиях сын не должен отрекаться от отца с матерью. Никогда, ни при каких случаях...

Вот какой силы и объема "внутренний монолог" подкладывал исполнитель роли Бессеменова под те эпизоды ее, когда "старшина малярного цеха" понимал, что сын его уходит от него и что дочь не с ним!

Другая тема его — оценка жизни.

Художественный (в прошлом веке сказали бы — "физиологический") очерк "Больница" в известном смысле наследует толстовской повести "Смерть Ивана Ильича".

Промежуточное состояние, площадка, с которой человек видит свою жизнь от начала до